

ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ: ГАЙТО ГАЗДАНОВ, ЛЕВ ТОЛСТОЙ, ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ (О РОМАНЕ “ВЕЧЕР У КЛЭР”)

© 2011 г. С. А. Кибальник

Статья посвящена заключительным страницам романа Гайто Газданова “Вечер у Клэр” (<1930>), на которых повествуется об участии героя-рассказчика в Гражданской войне. Показано, что они представляют собой своего рода метатекст военной прозы Льва Толстого. Газдановский образ человека на войне создается в значительной степени при помощи неатрибутированных аллюзий и цитат как трансформация аналогичного толстовского образа. Вместе с тем в изображении “мирной” солдатской жизни Газданов очевидным образом ориентируется на текст “Записок из Мертвого дома” Достоевского.

The author presents an analysis of the final episodes in Gayto Gazdanov's novel “An Evening at Claire” (<1930>) that tell the story of the autobiographical narrator's fight in the Civil War. Their detailed comparison with Leo Tolstoy's “battle prose” shows that these episodes are a sort of a metatext. Gazdanov's image of man in the war is – to a great extent – constructed by means of nonattributed allusions to and quotations from Tolstoy's “battle prose” as a transformation of Tolstoyan images, while his depiction of “peaceful” soldiers' life is obviously oriented to the text of Dostoevsky's “Notes from the Dead House”.

Ключевые слова: Газданов, Лев Толстой, Достоевский, роман, война, проза, аллюзия, цитата, метатекст.

Key words: Gazdanov, Leo Tolstoy, Dostoevsky, novel, war, prose, allusion, quotation, metatext.

Литературная критика русского зарубежья писала о романе Гайто Газданова “Вечер у Клэр” в основном как о произведении, созданном под влиянием Марселя Пруста [1, т. 5, с. 368–374, 382–384]. Это мнение имеет своих сторонников и среди исследователей [2, с. 65–75; 3, 102–121]. Между тем в действительности роман написан скорее в традициях автобиографической прозы Л.Н. Толстого [4, с. 354–355] (подробнее об этом см. в нашей работе [5]). Что же касается заключительных страниц “Вечера у Клэр”, на которых герой-рассказчик повествует о своем участии в Гражданской войне, то их очевидные интертекстуальные связи с военной прозой Толстого до настоящего времени проходили мимо внимания исследователей. Между тем они довольно значительны.

Как было отмечено еще современниками Толстого, его “Севастопольские рассказы” и ранняя военная проза представляли собой прежде всего “очерки разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских)” [6, с. 215]. Одна из главных тем этих произведений, как определяет ее Л.Д. Опульская: “что такое смертельная опасность и воинская доблесть, как переживается страх быть убитым и в чем заключается храбрость, побеждающая, уничтожающая этот страх” [7, с. 8]. Вот как, например, эта тема ставится в рассказе “Набег” (1852).

В самом начале его о храбрости разговаривают между собой герой-рассказчик и капитан Хлопов: “– Храбрый? храбрый? – повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос: – *храбрый тот, который ведет себя как следует*, – сказал он, подумав немного. Я вспомнил, что Платон определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться*, и, несмотря на общность и неясность выражения в определении капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различна, как могло бы показаться, и что даже определение капитана вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верно, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться*, а не того, *чего не нужно бояться*” [8, т. 3, с. 16–17] (курсив Толстого. – С.К.). Мысль эта иллюстрируется в дальнейшем несколькими примерами и проверяется самим сюжетом рассказа.

Мы узнаем о “неслужащем каком-то, из испанцев, кажется”, который “все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там и он” и которого “таки ухлопали”. На реплику героя-рассказчика о нем: “– Так, стало быть, храбрый”, – капитан отзывается: “– Нет, это не значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают...” [8, т. 3, с. 16].

В рассказе и повествуется о таком же, только уже русском герое, “хорошеньком прапорщике”, который, несмотря на запреты капитана, все же “бросается на ура” и получает в результате этого смертельное ранение. Ему противопоставлен сам капитан Хлопов: «В фигуре капитана было очень мало воинственного; но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. “Вот кто истинно храбр”, сказалось мне невольно. Он был *точно таким же, каким я всегда видал его...*» [8, т. 3, с. 37] (курсив Л.Н. Толстого. – С.К.). “Мораль” рассказа сформулирована в нем и прямо, словами “старого солдата”: “– Ничего не боится: как же этак можно! – прибавил он, пристально глядя на раненого. – Глуп еще – вот и поплатился. – А ты разве боишься? – спросил я. – А то нет!” [8, т. 3, с. 38].

Герой “Рубки леса” капитан Болхов прямо признается: “– я не могу переносить опасности... просто, я не храбр...” – и объясняет свое пребывание на Кавказе невозможностью вернуться в Россию [8, т. 3, с. 55]. Как бы в противоположность “Набегу” – и вслед за некоторыми другими произведениями Толстого, например, “Севастопольскими рассказами” и той же “Рубкой леса” – военные сцены “Вечера у Клэр” начинаются с изображения случаев “самой ужасной трусости”, которую никак не может понять герой-рассказчик [8, т. 3, с. 128]. При этом Газданов, безусловно, опирается на “Севастопольские рассказы” и “Войну и мир”: Володя Козельцов “в настоящую минуту был *жесточайшим трусом*, хотя шесть месяцев тому назад он далеко не был им” [8, т. 4, с. 68] (здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, курсив мой. – С.К.); на Жеркова внезапно находит “*непреодолимый страх*” [8, т. 9, с. 225], а всем существом Николая Ростова владело “одно *нераздельное чувство страха* за свою молодую, счастливую жизнь” [8, т. 9, с. 229].

Только представив в беглом абрисе целую когорту редкостных трусов, Газданов переходит к рассказу об “иных” людях: полковнике Рихтере, поручике Осипове, солдате Филиппенко, о Данько, “одном из самых смелых людей”, каких он “когда-либо видел” [1, т. 1, с. 132], – и, наконец, об исключительном храбреце Аркадии Славине. При этом у Газданова не наблюдается характерная для Толстого закономерность: офицеры фразерствуют, а солдаты без лишних слов выполняют свой долг. В “Вечере у Клэр” и трусы, и храбрецы встречаются как среди солдат, так и среди офицеров. Как и некоторые другие случаи видоизменения Газдановым мотивов Толстого, этот представляет собой скорее всего сознательную полемическую их интерпретацию.

Рассказав о “бронепоездных негодях”, герой-рассказчик Газданов вспоминает и о “самом удивительном человеке”, которого он “видел на войне”, “внешнее отличие которого заключалось в его непобедимой лени – Копчике” [1, т. 1, с. 140]. Обрадовавшись тому, что вследствие ранения наводчика он мог больше не подавать снаряды, Копчик “утешает” наводчика тем, что кровь у него “очень красная”, а сердце “крепкое” [1, т. 1, с. 141]. Это напоминает финальный эпизод рассказа Толстого “Набег”: “Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому. – Что, видно, и вам сделали дырочку на целом месте, – сказал он шутливо-небрежным тоном: – покажите-ка. Прапорщик повиновался; но в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, были удивление и упрек, которых не заметил этот последний” [8, т. 3, с. 39]. И толстовский прапорщик, и газдановский наводчик вскоре после этого умирают. Однако если во взгляде первого из них на доктора были “выражение и упрек”, то на лице второго – только “смертельная тревога”. Неуместность подобного “утешения” у Газданова выражена имплицитно, через менее определенную деталь, подчеркивающую тяжелое состояние раненого: “наводчик с усилием посмотрел на Копчика” [1, т. 1, с. 141].

Даже примечания к “Набегу”, в которых Толстой писал о значении некоторых слов “на кавказском наречии”, например: “*Маутак* на кавказском наречии значит небольшая лошадь” [8, т. 3, с. 19] (курсив Л.Н. Толстого. – С.К.) – могли подвигнуть Газданова на аналогичные ремарки в “Вечере у Клэр”. Причем одна из таких ремарок почти совпадает с толстовским примечанием. Ср. у Газданова: “в глубине оврага, который на кавказско-русском языке называется балкой, тек ручей, в котором водились форели” [1, т. 1, с. 83–84] и у Толстого: “*Балка* на кавказском наречии значит овраг, ущелье” [8, т. 3, с. 19] (курсив Л.Н. Толстого. – С.К.). Пояснительная ремарка, у Толстого структурно вынесенная в подтекстовое примечание, у Газданова введена в художественную вязь самого текста. Она остается у него единственным пояснением языкового характера к кавказскому эпизоду “Вечера у Клэр”, что особенно бросается в глаза на фоне целого ряда подобных примечаний Толстого к “Набегу”. Впрочем, и сам этот “кавказский” эпизод романа, в отличие от военных рассказов Толстого, действие которых происходит на Кавказе, занимает в “Вечере у Клэр” всего несколько страниц.

Парадоксальность приступов трусости даже у нетрусливых людей запечатлена Толстым также

в рассказе “Севастополь в мае”: “Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом <...> Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было. Уже раз проникнув в душу, страх нескоро уступает место другому чувству; он, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее <...> Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости; он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя” [8, т. 4, с. 39–41].

Изображение случаев “самой ужасной трусости” в “Вечере у Клэр” пронизано памятью об этих образах Толстого: “Я не понимал, как может плакать от страха двадцатипятилетний солдат, который во время сильного обстрела и после того, как в бронированную площадку, где мы тогда находились, попало три шестидюймовых снаряда, исковеркавших ее железные стены и ранивших несколько человек, – ползал по полу, рыдал, кричал пронзительным голосом: ой, Боже ж мой, ой, мамочка! – и хватал за ноги других, сохранивших спокойствие” [1, т. 1, с. 128].

В рассказе Толстого “Севастополь в августе” на вопрос Володи Козельцова о Мельникове солдаты отвечают ему: “– А такой у нас, ваше благородие, глупый солдатик есть. Он ничего как есть не боится и теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть: он и из себя-то на ведмедя похож. – Он заговор знает, – сказал медлительный голос Васина из другого угла. Мельников вошел в блиндаж. Это был толстый (что чрезвычайная редкость между солдатами), рыжий, красный мужчина, с огромным выпуклым лбом и выпуклыми ясно-голубыми глазами. – Что, ты не боишься бомб? – спросил его Володя. – Чего бояться бомбов-то! – отвечал Мельников, пожимаясь и почесываясь, – меня из бомбы не убьют, я знаю. – Так ты бы захотел тут жить? – А известно захотел бы. Тут весело! – сказал он, вдруг расхохотавшись” [8, т. 4, с. 106–107].

Отзвуки разговоров толстовского Мельникова, возможно, звучат и в словах Филиппенко, не понимавшего “ни нервного возбуждения, владевшего людьми, ни их страха”: “– Ты не боишься, Филиппенко? – спрашивал его командир. – А чего

бояться? – удивленно говорил Филиппенко. – Боязно ночью на кладбище, вот то боязно. А днем не боязно” [1, т. 1, с. 132]. Некоторыми чертами Мельникова отмечен и газдановский Данько: “Он был веселый, бесконечно добрый и бесконечно отчаянный человек. – Данько, ты поехал бы на северный полюс? – спрашивал я. – А там интересно? – Очень интересно и много белых медведей. – А, ни, – сказал он, – я медведей боюсь. – Почему же ты их боишься? Они тебя к высшей мере не приговорят. – А они укусят, – ответил Данько и засмеялся”: [1, т. 1, с. 134]; “– Как же ты, Данько, не испугался? – спрашивали его уже после того, как он был переодет и накормлен и сидел у печи теплушки, куря папиросу из табака Стамболи. – Кто не испугался? – ответил Данько. – О, я очень испугался” [1, т. 3, с. 133] (ср. также аналогичный диалог в “Набеге”: “– А ты разве боишься? – спросил я. – А то нет!” [8, т. 3, с. 38]).

В то же время газдановский Данько, “большой любитель посмеяться и хороший товарищ” [1, с. 132], отчаянно храбрый, находчивый и изобретательный, невинно разгуливающий под обстрелом как будто он тоже “знает заговор”, представляет собой, разумеется, полную противоположность бессмысленно храброму и не совсем психически нормальному Мельникову. Зато в этом последнем отношении Мельников, быть может, является отчасти прообразом газдановского Копчика.

Возможно, есть в “Вечере у Клэр” и образы, навеянные личностью самого Толстого. Так, деталь, относящаяся к его собственному участию в военных действиях: “Когда он наводил пушку, неприятельская граната разбила лафет этой пушки, разорвавшись у его ног. К счастью, Льву Николаевичу она не причинила никакого вреда” [9, с. 99] – вероятно, была использована Газдановым при изображении полковника Рихтера: «командир бронепоезда “Дым”, лежал, я помню, на крыше площадки, между двумя рядами гаек, которыми были свинчены отдельные части брони. Неприятельский снаряд, с визгом скользнув по железу, сорвал все скрепы, бывшие слева от полковника; он даже не обернулся» [1, т. 1, с. 131].

По-видимому, в решении самого Газданова пойти на войну не последнюю роль играл пример Толстого. Во всяком случае, герой-рассказчик “Вечера у Клэр” объясняет его не какими-либо политическими соображениями: “Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому что так было принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными войсками, я поступил бы, наверное, в красную

армию”, – а тем, что “хотел знать, что такое война, это было все тем же стремлением к новому и неизвестному” [1, т. 1, с. 116–117], то есть тем же, что подвигает на такое решение всякого начинающего писателя. В другой раз на вопрос дяди: “– А почему, собственно, ты идешь на войну?” – герой-рассказчик реагирует следующим образом: “Я не знал, что ему ответить, замялся и, наконец, неуверенно сказал: – Я думаю, что *это все-таки мой долг*” [1, т. 1, с. 118]. И это объяснение несколько корреспондирует – вполне закономерно отличаясь гораздо большей расплывчатостью – с мотивировкой, которую выдвигает герой “Севастополя в августе”: “как-то совестно жить в Петербурге, когда *тут умирают за отечество*” [8, т. 4, с. 71].

Газданов вполне следует Толстому и в оценке войны как явления противоестественного: “И самые простые солдаты, единственные, которые оставались в этой обстановке прежними Ивановыми и Сидоровыми, созерцателями и бездельниками, – эти люди сильнее, чем все другие, страдали от *неправильности и неестественности происходящего* и скорее, чем другие, погибали” [1, т. 1, с. 148]. Однако у него эта противоестественность лишена руссоистского подтекста, который обычно ощущается у Толстого: “Природа дышала красотой и силой. <...> *Все недоброе в сердце человека* должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосредственным выражением красоты и добра” [8, т. 3, с. 29].

Образ Аркадия Славина, о котором герой-рассказчик отзывается так: “...все, что он делал, было исключительно и необыкновенно” [1, т. 1, с. 144] – равно как и деда героя-рассказчика – написан с явной ориентацией на повесть Толстого “Хаджи-Мурат”. Проявления необыкновенного мужества или жестокости в самых кровавых обстоятельствах изображаются в этой повести неоднократно: “Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. *Половина лица у его была отрублена и висела. Он захватил ее одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил к нему*” [8, т. 35, с. 52], “Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрид, – тот самый, который *отрубил голову ханше*” [8, т. 35, с. 57]. Доблесть, проявляемая в “Вечере у Клэр” Аркадием Славиным (“В бою с пехотой Махно, когда на площадке бронепоезда из четырнадцати человек команды остались только двое – остальные были убиты или ранены, – Аркадий, с искривленной контузией челюстью, наступая на труп первого номера, которому *оторвало голову* – и безглавое тело его еще корчилось,

и пальцы его уже не человеческих, отдельных рук еще царапали пол, – Аркадий, *пачкая свой френч в человеческих мозгах*, долго стрелял один из пушки в сплошную массу махновских солдат, карабкавшихся на насыпь” [1, т. 1, с. 144]), напоминает отчаянную храбрость мюридов Хаджи-Мурата.

В Славине герой-рассказчик даже подмечает “что-то азиатское”: “Его храбрость была не похожа на обычную храбрость: и все поступки Аркадия *отличались точностью, невероятной быстротой и уверенностью*; и, казалось, *сознание своего неизмеримого превосходства* над другими не покидало его никогда. *Движения его во время опасности были быстры*, как движения японского фокусника или акробата: в нем вообще было *что-то азиатское*, часть того таинственного *душевного могущества*, которым обладают люди желтой расы и которое непостижимо для белых” [1, т. 1, с. 144–145]. Аналогичные быстроту и точность Толстой подмечает в Хаджи-Мурате: “Но не успел Арслан-Хан выстрелить, как Хаджи-Мурат, несмотря на свою хромоту, *как кошка, быстро бросился с крыльца к Арслан-Хану*” [8, т. 35, с. 94], “Хаджи-Мурат бил без промаха, точно так же *редко выпускал выстрел даром* Гамзало” [8, т. 35, с. 116]. Некоторыми своими чертами: “Вместе с тем Аркадий был *тяжел и широк*” [1, т. 1, с. 145] – Славин напоминает сына Хаджи-Мурата Юсуфа: “Широкие, несмотря на молодость, плечи, *очень широкий* юношеский *таз* и тонкий, длинный стан, длинные сильные руки и сила, *гибкость, ловкость во всех движениях* всегда радовали отца, и он всегда любовался сыном” [8, т. 35, с. 106].

Другие проявления его характера: “Офицеры не могли простить ему тех *презрительных усмешек*, какими он сопровождал их неудачные распоряжения во время боя” [1, т. 1, с. 145] – связывают его с самим Хаджи-Муратом. В обращении последнего с окружающими то и дело проглядывает “презрение”: “*презрительно* оглядывая присутствующих” [8, т. 35, с. 46], “Во все время разговора Хаджи-Мурат сидел, заложив руку за рукоять кинжала, и чуть-чуть *презрительно улыбался*” [8, т. 35, с. 84], “Хаджи-Мурат сбоку взглянул *презрительно* на маленького, толстого человечка в штатском и без оружия” [8, т. 35, с. 101], “человек этот не только был предан Шамилю, но испытывал непреодолимое отвращение, *презрение*, гадливость и ненависть ко всем русским” [8, т. 35, с. 55], “или, противно религиозному закону и чувству отвращения и *презрения* к русским, покориться им” [8, т. 35, с. 81], “К Ивану Матвеевичу Хаджи-Мурат с первого знакомства с ним почувствовал *отвращение и презрение*” [8, т. 35, с. 84].

В Славине подчеркивается его красивый голос и умение петь: "...ночью мы просыпались оттого, что слышали *раскаты его сильного баритона*; он всегда пел, возвращаясь. Он вообще *пел очень хорошо*; он по-настоящему знал, что такое музыка. С побледневшим лицом, с головой, склоненной на грудь, он просиживал в купе долгие минуты совершенно неподвижно; и потом вдруг глубокий грудной звук наполнял вагон; и через секунду я не видел больше ни стен вагона с развешенными по ним винтовками, ни книг, ни ламп, ни моих товарищей – точно их никогда и не было, и все, что я знал до сих пор, было страшной ошибкой, и ничего не существовало, кроме этого голоса и белого лица Аркадия *со смеющимися глазами*, хотя он всегда *пел только печальные песни*" [1, т. 1, с. 145]. Эта черта связывает его с мюридом Хаджи-Мурата Ханефи: "Ханефи знал много горских песен и *хорошо пел их*. Хаджи-Мурат, в угождение Бутлеру, призывал Ханефи и приказывал ему петь, называя те песни, которые он считал хорошими. Голос у Ханефи был *высокий тенор*, и пел он необыкновенно отчетливо и выразительно. Одна из песен особенно нравилась Хаджи-Мурату и поразила Бутлера своим *торжественно-грустным напевом*" [8, т. 35, с. 91]. Что касается "смеющихся глаз" Аркадия Славина, то эта деталь, использованная в "Вечере у Клэр" неоднократно (например: "Открывая глаза, я видел невысокую худую женщину с большим красным ртом и *смеющимися глазами*" [1, с. 150]) – тоже толстовская. Ср., например, в "Анне Карениной": "– Пускай делают, как им, вам то есть, угодно, – сказал он, *смеясь только глазами*..." [8, т. 18, с. 7], "– И глаза его *смеялись при чтении доклада*" [8, т. 18, с. 18] – и в "Воскресении": "Генерал не переставая *улыбался глазами*..." [8, т. 32, с. 301].

В военных сценах "Вечера у Клэр" немало офицеров и солдат, которые не представляют какие-либо определенные типы. У Газданова есть лишь некоторые намеки на классификацию: трусы, смельчаки, негодяи... Зато у Толстого существует четкая типология: "В России есть три преобладающие типа солдат, под которые подходят солдаты всех войск: кавказских, армейских, гвардейских, пехотных, кавалерийских, артиллерийских и т.д. Главные эти типы, со многими подразделениями и соединениями, следующие: 1) Покорных. 2) Начальствующих и 3) Отчаянных. Покорные подразделяются на а) покорных хладнокровных, б) покорных хлопотливых. Начальствующие подразделяются на а) начальствующих суровых и б) начальствующих политических. Отчаянные подразделяются на а) отчаянных забавников и б) отчаянных развратных" [8, т. 3, с. 43].

Возможно, этот несколько рассудочный подход Толстого предопределил то, что дальнейшее изображение отношений между героем-рассказчиком "Вечера у Клэр" и солдатами бронепоезда "Дым" строится уже как метатекст не его военной прозы, а "Записок из Мертвого дома" Достоевского. Отталкивание именно от них оказывается для Газданова тем более органичным, что "Записки..." представляют собой классический литературный текст на тему об отношениях дворянина (образованного человека) с народом, а в последующих военных эпизодах "Вечера у Клэр" речь идет не столько о войне, сколько именно о взаимоотношениях между героем-рассказчиком и солдатами.

Взаимосвязь эта ясно ощущается, например, в эпизоде расспросов Соседуша Иваном, приятелем Данько: "– Что такое Млечный Путь? – Почему это вас вдруг заинтересовало? – А меня солдаты спрашивают: Иван, что там в небе, как молоко? Я говорю: Млечный Путь. А что такое Млечный Путь, не знаю. – Я объяснил ему, как мог. На следующий день он опять подошел ко мне: – А скажите мне, пожалуйста, чему равняется длина окружности? – Она определяется специальными математическими терминами, – говорил я. – Не знаю, будут ли они вам понятны. – И я привел ему формулу длины окружности. – Ага, – подтвердил он с довольным видом. – А я вас нарочно пытал, думал, может, не знаете. Я раньше спросил у вольноопределяющегося Свирского, а потом записал и пришел вас пытать" (1, т. 1, с. 134).

В "Записках..." тот же мотив¹ звучит в разговорах Горянчикова с Петровым: "– Я вот хотел вас про Наполеона спросить. Он ведь родня тому, что в двенадцатом году был? (Петров был из кантонистов и грамотный.) – Родня. – Какой же он, говорят, президент? Спрашивал он всегда скоро, отрывисто, как будто ему надо было как можно поскорее об чем-то узнать. Точно он справку навел по какому-то очень важному делу, не терпящему ни малейшего отлагательства. Я объяснил, какой он президент, и прибавил, что, может быть, скоро и императором будет. – Это как? Объяснил я, по возможности, и это. Петров внимательно слушал, совершенно понимая и скоро соображая, даже наклонив в мою сторону ухо. – Гм. А вот я

¹ Отзвук этого мотива "Записок..." в "Призраке Александра Вольфа" Газданова был отмечен В.А. Боярским ("Ночные дороги" Газданова и "Записки из Мертвого дома" Ф.М. Достоевского. Опыт сопоставительного анализа // Исследовано в России [Электронный журнал]. 2001. № 26. С. 273–281. URL: <http://zhurnal.are.relarn.ru/articles/2001/0026.pdf> (дата обращения: 10. 10. 2008). Ощущается он и во многих других произведениях Газданова – в частности, в "Пробуждении" (Пьер – Анна) и в "Пилигримах" (Фред – Рожэ).

хотел вас, Александр Петрович, спросить: правда ли, говорят, есть такие обезьяны, у которых руки до пяток, а величиной с самого высокого человека? – Да, есть такие. – Какие же это? Я объяснил, сколько знал, и это. – А где же они живут? – В жарких землях. На острове Суматре есть. – Это в Америке, что ли? Как это говорят, будто там люди вниз головой ходят? – Не вниз головой. Это вы про антиподов спрашиваете. Я объяснил, что такое Америка и, по возможности, что такое антиподы. Он слушал так же внимательно, как будто нарочно прибежал для одних антиподов <...> – Ну, прощайте. Благодарствуйте. И Петров исчезал, и в сущности никогда почти мы не говорили иначе, как в этом роде” [10, с. 83]. Однако, в отличие от героя Достоевского, Иван не просто спрашивает, а как будто экзаменует Соседова, желая убедиться в том, что тот – действительно знающий человек. Впрочем, это отличие вполне естественно, учитывая юный возраст героя-рассказчика “Вечера у Клэр”.

У Достоевского эти два мотива: расспросы и сознание социокультурной пропасти, отделяющей Горянчикова от других каторжан – тесно взаимосвязаны: “Мне кажется, он вообще считал меня каким-то ребенком, чуть не младенцем, не понимающим самых простых вещей на свете. Если, например, я сам с ним об чем-нибудь заговаривал, кроме науки и книжек, то он, правда, мне отвечал, но как будто только из учтивости, ограничиваясь самыми короткими ответами” [10, с. 86]. Основным внутренним сюжетом “Записок...”, как известно, является постепенное осознание Горянчиковым того, что, даже оказавшись в одинаковых условиях с простым человеком, он не перестает быть для них “чужим”. Лишь со временем Горянчиков осознает всю меру отчуждения, которую питают по отношению к нему как дворянину другие арестанты, причем знаменательно, что это происходит после разговора с тем же Петровым: «Я понял, что меня никогда не примут в товарищество, будь я разарестант, хоть на веки вечные, хоть особого отделения. Но особенно остался мне в памяти вид Петрова в эту минуту. В его вопросе: “Какой же вы нам товарищ?” – слышалась такая неподдельная наивность, такое простодушное недоумение» [10, с. 207].

У Газданова за расспросами следует эпизод, в котором герою-рассказчику, несмотря на все его старания, не удается купить в деревне свинью, в то время как Иван покупает ее “в первой же избе – той самой”, где герою-рассказчику сказали, что свиньи нет. “И всегда бывало так, что там, где мне приходилось иметь дело с крестьянами, – подытоживает герой-рассказчик, – у меня ничего

не выходило; они даже плохо понимали меня, так как я не умел говорить языком простонародья, хотя искренне этого хотел” [1, т. 1, с. 136]. Осознание своего особенного положения среди солдат происходит у героя-рассказчика также с отчетливой ориентацией на Горянчикова: «Я проводил свое время с солдатами, но они относились ко мне с известной осторожностью, потому что я не понимал очень многих и чрезвычайно, по их мнению, простых вещей – и в то же время они думали, что у меня есть какие-то знания, им, в свою очередь, недоступные. Я не знал слов, которые они употребляли, они смеялись надо мной за то, что я говорил “идти за водой”: за водой пойдешь, не вернешься, – насмешливо замечали они. Кроме того, я не умел разговаривать с крестьянами и вообще в их глазах был каким-то русским иностранцем» [1, т. 1, с. 135]².

В изображении отношений героя-рассказчика “Вечера у Клэр” с солдатами имеет место явная стилизация под “Записки...”, подчеркнутая неатрибутированной цитатой. (Ср.: “я не понимал очень многих и чрезвычайно, по их мнению, простых вещей” у Газданова, – и “не понимающим самых простых вещей на свете” у Достоевского). По сравнению с Достоевским, подчеркивающим восприятие Петровым Горянчикова как “ребенка” и глубокое отчуждение от дворян остальных обитателей острога, Газданов обращает внимание на непонимание между Соседовым и солдатами, крестьянами, обусловленное в том числе и незнанием им народной речи. В “Вечере у Клэр” Соседов и солдаты бронепоезда не только не “товарищи” – они даже не совсем соотечественники. То, что социокультурные различия между многими людьми значительнее национальных, впоследствии будет не раз показано в романе “Ночные дороги”.

Описание связей солдат и офицеров с бронепоездными “служанками”, отказывавшимися “спать” с ними “задаром” [1, т. 1, с. 141, 142], и приходящими женщинами, “по типу своему” “больше всего” похаживавшими “на проститутку, но проститутку с воспоминаниями” [1, т. 1, с. 1], явственно напоминает изображение Достоевским отношений каторжан с проститутками, обслуживавшими обитателей острога. Однако в “Записках...” подчеркивается нечистоплотность и некрасивость этих женщин в соединении с игривостью и выразительностью речи: “– Я засиделась? Да давеча сорока на коле дольше, чем я у них,

² Впоследствии эта тема “Записок из Мертвого дома” снова отозвалась у Газданова в “Ночных дорогах” (<1938>) в изображении “отчуждения” героя-рассказчика от его парижского окружения.

посидела, – отвечала весело девица. Это была наигрязнейшая девица в мире. Она-то и была Чекундá. С ней вместе пришла Двугрошова. Эта уже была вне всякого описания” [10, с. 30]. В “Вечере у Клэр” акцентируются хорошее понимание конъюнктуры бронепоездными “служанками” (“быстро поняли себе цену и заважничали”) и открытые декларации продажности (“– Я теперь задаром ни с кем не сплю. Дайте мне кольцо с вашей руки, я с вами спать буду”). А когда очередь доходит до джанкойских “офицерских мессалин”, то подчеркивается их “страшная душевная нищета” [1, т. 1, с. 141–142, 149–150]³.

Таким образом, в “мирных сценах” бронепоездной жизни Газданов конструирует свое художественное высказывание, отталкиваясь и переосмысляя классическую книгу Достоевского о народе. Обращаясь собственно к “войне”, он создает своего рода метатекст военной прозы Толстого. Газдановский образ “человека на войне” возникает с помощью неатрибутированных аллюзий и цитат из нее как трансформация аналогичного образа Толстого.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Гайто Газданов*. Собрание сочинений: В 5 т. М.: ЭЛЛИС ЛАК, 2009.
2. *Цхофребов Н.Д.* Марсель Пруст и Гайто Газданов // Русское зарубежье: приглашение к диалогу. Сб. научных трудов / Отв. ред. Л.В. Сыроватко. Калининград: Изд-во Калининградского государственного университета, 2004.
3. *Livak, Leonid*. How It Was Done in Paris. The University of Wisconsin Press, 2003 (ch. “Flirting with Proust: Gaito Gazdanov’s *Večer u Kler*”).
4. *Чагин А.И.* Пути и лица: О русской литературе XX века. М.: Наследие, 2008 (раздел “Гайто Газданов: творчество на перекрестке традиций”).
5. *Кибальник С.А.* Гайто Газданов, Марсель Пруст и Лев Толстой // Западный сборник: В честь 80-летия П.Р. Заборова. СПб.: ИД “Петрополис”, 2011.
6. *Некрасов Н.А.* Письмо к И.С. Тургеневу от 18 августа 1855 г. // *Некрасов Н.А.* Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. СПб.: Наука, 1998. Т. 14. Кн. 1.
7. *Опупьская Л.* Творческий путь Л.Н. Толстого // *Толстой Л.Н.* Собрание сочинений: В 12 т. М.: Изд-во “Правда”, 1984. Т. 1.
8. *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений: В 90 т. М.: ГИХЛ, 1928–1958.
9. *Бирюков П.И.* Биография Льва Николаевича Толстого. М.; Пг.: Государственное издательство, 1923. Т. 1.
10. *Достоевский Ф.М.* Записки из Мертвого дома // Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 4. Л., 1973.

³ Изображение проституток, снова связанное интертекстуально с “Записками из Мертвого дома”, имеет место также и в “Ночных дорогах” Газданова.